

№ 1

декабрь 2015

ЭТАЖИ

литературно-художественный журнал

Авторские этажи. Поэзия

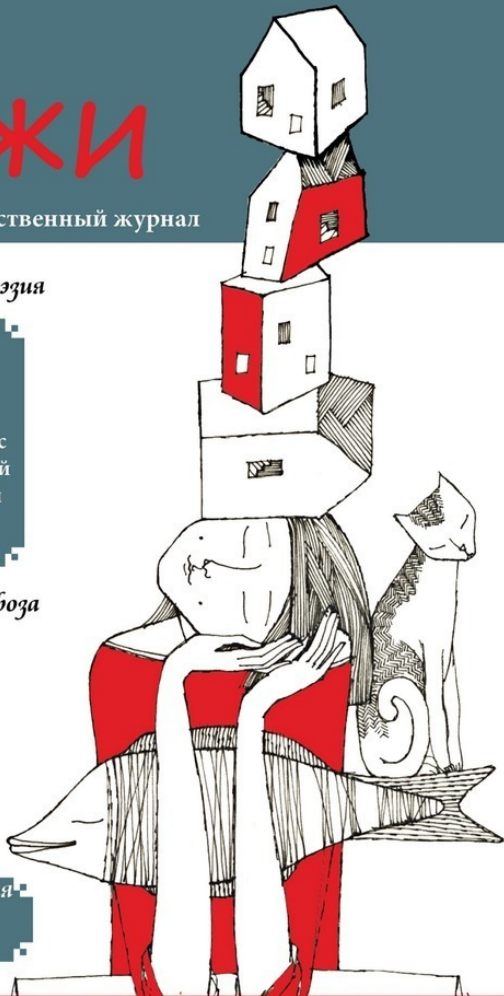
Вера Павлова
Вера Кузьмина
Сергей Данюшин
Фёдор Сваровский
Игорь Джерри Курас
Рудольф Ольшевский
Сергей Гандлевский
Борис Херсонский
Лера Манович

Авторские этажи. Проза

Алла Лескова
Евгений Коган
Таня Лоскутова
Денис Драгунский
Александр Феденко
Анатолий Головков
Наталья Резник
Лев Гурский

Литературная кухня

Валерий Черешня
Вид из себя



Настоящая жизнь моя была в Москве

Наум Коржавин – о жизни в Бостоне интервью Ирины Терры

Литературно-художественный журнал Этажи

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=17797887

ISBN 9785447438708

Аннотация

Журнал имеет электронную и печатную версии. Печатный журнал выходит три раза в год. В него отбираются лучшие публикации, размещенные в электронном журнале. Редакция отдает предпочтение новым, не опубликованным ранее материалам. Сайт журнала: www.etazhi-lit.ru Рукописи принимаются по эл. адресу: etazhi.red@yandex.ru

Содержание

Вера Павлова	7
Город в котором снег	7
Евгений Коган	11
Ненужные вещи	11
Столбы	17
Фёдор Сваровский	27
Один на Луне	27
Один из нас	32
Мяч	36
Алла Лескова	37
Ватрухи	37
Жаркое лето, 2014	40
Ирина	42
Героям слава	44
Крутая	46
А иначе зачем	48
Теперь ты	49
Сергей Данюшин	51
Что мы знаем о весёлых трактористах	51
Антропоморфизм	52
Эпифоры	54
«Вот всех бы собрать патриотов...»	56
Конец ознакомительного фрагмента.	57

Этажи
№1. Декабрь 2015
**Литературно-
художественный журнал**

© Литературно-художественный журнал, 2015

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

«Этажи»

№1 декабрь 2015

Главный редактор – Ирина Терра

Редактор отдела поэзии — Игорь Джерри Курас

Редактор отдела прозы — Улья Нова

Редактор рубрики «Литературная кухня» —

Владимир Гандельсман

Редактор рубрики «Чердак художника» —

Таня Кноссен-Полищук

Экспертный совет редколлегии:

Вера Павлова

Дмитрий Воденников

Даниил Чкония

Женя Брейдо

Макет, оформление и вёрстка – **Екатерина Стволова**

Иллюстрации:

обложка, стр. 20, 68, 131 – **Таня Кноссен-Полищук**

стр. 5 – **Юлия Вегенер-Снайгала**

стр. 65 – **Евгения Крикова**

стр. 98, 100, 102 – **Варя Кулешенко**

стр. 133 – портрет Валерия Черешни,

художник **Яков Хирам**

стр. 142 – фотография Наума Коржавина,

фотограф **Ирина Терра**

Журнал имеет электронную и печатную версии. Печатный журнал выходит три раза в год. В него отбираются лучшие публикации, размещенные в электронном журнале. Редакция отдает предпочтение новым, не опубликованным ранее материалам.

Сайт журнала: [битая ссылка] www.etazhi-lit.ru

Эл. адрес: [битая ссылка] etazhi.red@yandex.ru



Вера Павлова

Город в котором снег

город в котором снег
пачкается в полёте
город в котором смех
горек уже в зиготе
город в котором дитя
в утробе матерится
город в котором я
умудрилась родиться.

Сумерки. Лай собак.
Мертвое лоно вод.
Носом клюёт рыбак.
Что, рыбак, не клюёт?
Рыбка берёт крючок,
дергает за него:
– Что тебе старичок,
надобно? – Ничего.

Дадим собаке кличку,
а кошке псевдоним,
окликнем птичку: «Птичка!» —
с травой поговорим,
язык покажем змею,
козлу ответим: «Бе-е-е!»
Вот видишь, я умею
писать не о себе.

Приватная помойка у забора,
общественная свалка у реки...
Когда б вы знали, из какого сора
растут у нас в деревне сорняки!

Если хмуришь брови,
значит, я ни при чём.
Если вижу профиль,
значит, ты за рулём.
Если с плеча рубишь,
кровь на плече моя.
Если меня не любишь,
значит, это не я.

Кто поплачет с плакучею ивой,
пересмешника кто насмешит,
кто осмелится сделать счастливой

ту, которую счастье страшит,
кто оценит печальную шутку,
кто не даст освистать травести,
кто заставит забыть незабудку,
что недолго осталось цвести?

Не Лизой на дно, так на рельсы – Анной...
Декабрьской ночью, бессонной, вьюжной,
хочу одного – быть желанной,
нуждаюсь в одном – быть нужной
тому, кто спит. Затекает локоть,
любовь суфлирует из-под матраца:
буди – и будет, кого баюкать,
убей – и будет, по ком убиваться.

Дудочка и подростковая прыть.
Уголь и жало.
Муза, о чём мне с тобой говорить?
Ты не рожала.

Кроем пиджака озадачит,
одуванчик вденет в петлицу...
Личность – совокупность чудачеств.
Сочетанье – не повторится.
Не черты лица – чертовщинка.
Резкие движенья – не поза.

Личность – не личина, – личинка
в ожиданье метаморфоза.

С богом, в небо, путём проторенным —
пятнадцать часов от дому до дому.
Счастье – это горе, которому
удалось придать совершенную форму.
Памятник, нерукотворный – из пролитых
мною слёз – ледяная баба,
нос морковкой. Среди слезоголиков
почётное место занять могла бы.

Шале под горой, виноградника вязь...
Жители рая,
на первый второй расщитайсь!
Первый. Вторая.

любители точных линий
творили ночь как молитву
и становились невинней
ещё на одну любитву
и верили будет милость
дарована двоеточье
вернуть друг другу невинность
последней брачной ночью.

Евгений Коган

Ненужные вещи

Изе Молочнику везло почти всю войну, а в феврале 1944 года везение кончилось – в один момент. Его часть стояла под Житомиром, готовились к наступлению – дальше, на запад. Изя был при штабе – смешной, в круглых нелепых очках, запасные недавно разбил, уши оттопырены, как локаторы, большущий нос, веснушки круглый год и еще эти непослушные волосы – как бы коротко Изя не был подстрижен, они все равно так сильно завивались, что торчали в разные стороны. Изя был штабным писарем, гвардии майор Валерий Игнатьевич Силантьев ласково называл его «мой еврейчик» и щелкал по носу, когда Изя вдруг задумывался о чем-то своем, но в обиду никому не давал. «Это, – говорил он, – мой еврейчик», – и к Изе никто не лез, потому что героя войны Силантьева уважали и даже немного побаивались. Ходили слухи, что в каком-то бою он собственноручно зарезал пятерых фрицев, а с таким шутить не стоило. Изя Силантьева обожал, и Силантьев это чувствовал, от того не просто щелкал Молочника по носу, но в этот момент даже чуть краснел от удовольствия – «мой еврейчик». К февралю 1944-го они были не разлей вода, куда Силантьев – туда

и Молочник, только к генералу Валерий Игнатьевич своего писаря не брал, потому что военные секреты – не для оттопыренных ушей местечкового жиденка, пусть и такого своеобразительного.

Говорили, что семья Изи сгинула в Терезине – вроде, обитателей его маленького украинского местечка вывезли именно туда. Чешский город смерти, чистенький и красивый, в неглубоком канале – выдры какие-то, а рядом – рельсы проложены, по ним евреев вывозили в Освенцим. Терезин во время войны превратился в гетто, и концлагерь – маленький по немецким меркам, был как бы частью этого городка, куда свозили евреев из разных мест. А Изе повезло – умел писать без ошибок, по-русски говорил почти без акцента, так что его еще в начале войны забрали в армию, и сразу – в штаб. А потом он попал к Силантьеву, и уже у него, вроде бы, узнал про Терезин. Говорили, что там многие выжили – немцы устроили в Терезине показательное гетто для мировой общественности, привозили представителей «Красного креста», даже сняли фильм – дескать, окончательное решение еврейского вопроса продвигается цивилизованно, как и должно продвигаться решение любого вопроса в просвещенной Европе. Все остались довольны, кроме тех евреев, которых отправили напрямиком в печи Освенцима. Вроде бы, семья Молочника была среди последних. Но подробностей никто не знал – еврейские местечки Украины опустели, и некому было рассказать, кому повезло, да и стоило ли

говорить о везении в то время. Впрочем, Изе повезло – он находился под защитой штабного блиндажа и лично товарища Силантьева, героя войны и офицера, которого евреи как нация не интересовали.

Зимой 1944 года часть, которой командовал Силантьев, оказалась недалеко от Житомира. Медленно продвигаясь на запад, войска Красной армии шаркали стоптанными сапогами как раз по той земле, которую Изя Молочник условно считал своей. Не умея ориентироваться, и до войны ни разу не выбираясь из родного местечка – кривые улочки да низенькая белая синагога, Изя просто знал, что где-то тут, очень приблизительно, но все-таки где-то тут он и жил вместе со своей семьей, про которую уже года три ничего не слышал. И когда пошел пятый день с того момента, как движение на запад от чего-то застопорилось, Изя отпросился у Силантьева погулять – просто пройтись, подышать воздухом детства. Силантьев вдруг расчувствовался, вспомнил родную Волгу-матушку, жену Марию Ивановну, рыбалку и прозрачный, словно слеза, самогон, который гнал старый сосед с седой бородой и хитринкой в глазах, – вспомнил, да и отпустил своего еврейчика. Только велел до темноты не бродить – мало ли чего. Но до темноты бродить не пришлось, потому что везение, которое сопровождало Изю Молочника всю войну, иссякло – или Бог, про которого Изя иногда думал, отвлекся на что-то более важное, или просто так сов-

пало, а только Изя нашел на свою беду мину, заложенную непонятно когда и неизвестно кем. Здесь уже отработали саперы, и не одна тысяча бойцов промаршировала тут по пути к Великой Победе, а мина лежала себе, словно ждала кого-то, и вот, поди ж ты, дождалась. Изя не успел ничего понять, а просто в момент исчез, распылится на множество маленьких кусочков так, что от него ничего не осталось. Грохот разорвавшейся мины переполошил солдат и собак – собаки начали испуганно лаять, так и не успев за три с лишним года привыкнуть к войне, а солдаты забегали – кто по службе, а кто от удивления, потому что еще сегодня же тут ходили, вот буквально минут сорок назад. Но потом дым рассеялся, собаки замолчали, и выяснилось, что кроме Изя по счастью никто, вроде бы, и не пострадал.

Стояли еще дня три. Силантьев, воспользовавшись случаем, запил – и от того, что жалко ему было нелепого еврейчика Изю Молочника, который не успел пожить и сгинул, как и его семья, и ничего от этой семьи не осталось, а еще запил он просто от усталости, которая после взрыва вдруг навалилась неподъемной какой-то тяжестью. С первого дня войны в армии, Силантьев сначала отступал, стирая кровь и пот с обветренного лица, не спал сутками, седел и дрожащей рукой писал короткие записки домой, но держался, а тут вдруг сорвался, слезы потекли ручьем, все никак не мог успокоиться. А потом началось очередное наступление, и уже было не до Изя и не до усталости, а нужно было идти вперед,

и где-то далеко даже был различим конец войны.

Гвардии майор Валерий Игнатьевич Силантьев до Берлина не дошел – в начале апреля 1945 года он был ранен при наступлении на Вену, месяц провалялся в госпитале, а там уже оказалось, что наши взяли Берлин, и по радио объявили о безоговорочной капитуляции. Прямо из госпиталя Силантьев отправился домой, к своей пышнотелой Марии Ивановне, которая в письмах клялась, что ждала геройского мужа-орденоносца, а как на самом деле – одному Богу известно. Но по пути отчего-то завернул под Житомир, в деревеньку Емильчино – одно из многочисленных еврейских местечек, опустевших за годы немецкой оккупации. Почему Силантьева понесло именно туда, сам гвардии майор объяснить не мог. А только оказалось, что из всех евреев, которые жили здесь до немцев, в живых осталось человек тридцать, и среди них – старуха с именем Ривка и с фамилией Молочник. Потому что, в каком местечке не было семьи с фамилией Молочник? Силантьев как узнал о бабе Ривке, так и сел, где стоял, на пыльную мостовую. Сел, привалился к какой-то стене и заплакал – второй раз за все годы войны, и второй раз – по Изе Молочнику, своему еврейчику, от которого после того взрыва ничего не осталось. Хотя ничего – не то слово. Когда баба Ривка подошла к Силантьеву и положила свою сухую ладонь на его седую голову, Валерий Игнатьевич вдруг перестал плакать. Ни слова не говоря, он развязал заплечный мешок, такой же потрепанный, как и сам Силантьев, до-

стал оттуда коробочку, которую зачем-то хранил уже больше года, и протянул Ривке. «Все, что осталось, – сказал он, и у него перехватило дыхание. Но гвардии майор Силантьев взял себя в руки и поднял голову, встретившись с бесцветными глазами бабы Ривки. – Все, что осталось от Изи, Изи Молочника». И уже потом встал и пошел куда-то к вокзалу, надо было все-таки ехать домой.

Баба Ривка не знала, кто такой этот Изя, но спрашивать не стала. Она дошла до полуразвалившегося дома, где ютилась в углу, села на колченогий табурет и разложила на столе сокровища из коробки гвардии майора Силантьева: круглые очки без одного стекла, мятый блокнот с неразборчивыми глупыми стишками, огрызок карандаша и фотография очень красивой женщины с черными густыми волосами, а больше в коробке ничего не было. Ривка какое-то время смотрела на фотографию красивой женщины, а потом накрыла ее рукой и еще долго сидела над этими ненужными вещами, упершись взглядом в окно. Но не плакала, потому что слез у нее совсем не осталось.

Столбы

Город, – осклабился Илья и захлопал в ладоши...

Он был очень маленьким, когда его отец Егор, зарубив собственную жену Машу топором, удавился в сарае на веревке, которой подпоясывал широкие штаны. Илюша остался один, но по родителям не скучал – он вообще ни по кому не скучал, потому что с трудом понимал, что происходило вокруг него, только улыбался и хлопал маленькими ладошками. Его роды были тяжелыми – мать кричала несколько часов, а Илюша все никак не хотел вылезать на свет Божий, цепляясь за теплое материнское нутро. Но деревенский лекарь Степан Матвеевич, гордившийся своим городским образованием и уважением среди деревенских, все-таки вытащил младенца из мамкиного нутра. Илья не плакал, а только смотрел удивленно на Степана Матвеевича, на толстую мамку, которая лежала потная и уставшая, почему-то сжимая правой рукой свою огромную грудь с круглым коричневым соском, который просвечивал сквозь белую, мокрую от пота рубашку.

Илья так ни разу и не заплакал – он с неизменным восторгом и удивлением смотрел на мир, который окружал его, и улыбался. Когда ему было уже года четыре, его мать, так и оставшаяся обрюзгшей после родов, сказала мужу, что их сын, вроде бы, какой-то идиот. Егор сплюнул на деревянный

пол избы – сука, блядь, родишь идиотов, другого от тебя чего ожидать. Он уже давно потерял интерес к своей толстой некрасивой Марусе, и даже после бутылки не смотрел на нее, зажимая за сараем соседских девок. Девки смеялись, отталкивали Егора, который годился им в отцы, визжали на всю деревню, но не жаловались, а ему хватало – потискав в руках молодые девичьи грудки, он успокаивался, или у него уже не хватало сил на то, чтобы настоять на своем, или просто он тискал девок потому что так было нужно, а сам, после рождения Илюши, ничего не хотел.

Илюше едва исполнилось пять лет, когда его отец, напившись сильнее обычного, пришел в дом с топором в руке. Ну что, сука, дождалась, сказал он неожиданно спокойным голосом и рубанул Машу по голове. Маша, едва он переступил порог дома, все поняла и даже не убежала, не попробовала увернуться, не заслонила руками. Она просто стояла там, где застал ее Егор, и топор разрубил ей голову ровно пополам. Кровь и еще что-то красное и мягкое брызнуло на стену и широкий подоконник, на какие-то банки, и Маша осела, словно стекла по стене своим толстым, некрасивым телом, да так и осталась с топором в голове и в окровавленном невзрачном платье, которое продолжало топорщиться даже и тогда, когда она перестала дышать. Отец Илюши выдохнул и перекрестился – скорее, по привычке. Потом вышел во двор, шатаясь, дошел до сарая, выдернул из штанов веревку и перекинул ее через высокую балку под потолком. Его

нашли на следующий день, он уже посинел. Илюша все это время просидел в своей комнате, улыбался, смотрел на маму и иногда дотрагивался до живота, потому что ему хотелось есть.

Когда по деревне прошла весть о том, что Егор зарубил топором жену и сам повесился в сарае на веревке, про Илюшу сначала не говорили. Его накормили чем-то и оставили в доме, только вынесли его мать и, боязливо, топор. К вечеру все же заговорили о том, что Илью надо бы куда-то деть, но брать его никто не хотел. Егора в деревне не то, что не любили, но сторонились, особенно, когда он был выпившим, его жену молча жалели, вздыхали вслед, но вслух не обсуждали. Малолетнего дурачка же не любили в открытую – дети его играть не брали, да он и не хотел, все больше сидел на лавке у дома или смотрел в окно, и улыбался. Так, как-то, и получилось, что его не трогали – порой кормили, в остальном он жил сам по себе, улыбался да жевал сухарь. К нему привыкли, он стал что-то бормотать – произносил какие-то слова, бессвязные, понятные только ему самому. Поэтому ему никто не отвечал, лишь показывали пальцем – дурачок.

Ему исполнилось примерно восемь лет, потом примерно десять, потом примерно двенадцать. Илья рос, и никто в деревне как будто и не замечал этого. Мальчик все также продолжал улыбаться, хлопать в ладоши, его звали дурачком, а ему было все равно, только улыбался. Ему нравилась его жизнь, потому что он не знал другой. На него стали обра-

щать внимание девушки – Илья был красив той красотой, что незаметна с первого взгляда, но проступает тогда, когда живешь с человеком бок о бок долгое время, наблюдаешь его постоянно, привыкаешь к нему, перестаешь замечать его странности – словно так и должно быть. Илья был из таких – он нравился девушкам, но как-то отвлеченно. Они понимали, что никогда у них с ним, смешным и нелепым деревенским дурачком, ничего не будет, никогда он их не поцелует, никогда не обнимет, и, потому, чувствуя собственную безопасность и безнаказанность, начали заигрывать, шутить, строить глазки, улыбаться со значением. Илье это нравилось – он тоже улыбался и хлопал в ладоши, начинал отличать деревенских девок, узнавать их, порой даже называл по именам.

На Рождество, когда снегу навалило – не дай Бог, от дверей было не пройти, мужики каждый день, с утра пораньше, брались за лопаты, деревенская красавица Инна, самая видная девка, пришла к нему в дом. Ему как раз исполнилось четырнадцать лет, он сидел на крыльце, хлопал в ладоши, не замерзал – не чувствовал холода. Захлопал в ладоши, увидев девушку, назвал по имени. Инна присела с ним рядом. Что делаешь, спросила она. Илья гыгыкнул радостно, остатками ума понимая, что нужно что-то отвечать, но не умея, не зная, не ведая слов. Инна убрала длинные волосы с его лица, протянув пальцами по щеке – у Илюши перехватило дыхание от этих мягких, теплых, податливых пальцев, он вспомнил

маму, положил руки на колени. Илюша, сказала Инна, снова и снова дотрагиваясь до его лица, до щек и переносицы, до губ, остановилась пальцами на губах, замерла на мгновение, а потом убрала пальцы и своими губами мягко дотронулась до его. Илья испугался, подумал, что она сейчас втянет его в себя, затянет губами, и он исчезнет, пропадет, навсегда пропадет, не будет его больше. Испугался, почти совсем перестал дышать, только слеза появилась, замерев. Но было не больно – наоборот, было приятно, но беспокойно, и сердце стало биться быстрее, и немного задрожали пальцы рук – сильнее, чем обычно. Инна закрыла глаза и отдалась поцелую, а Илья только отрыл рот и постарался не дышать, совсем не дышать, чтобы длить это наслаждение как можно дольше, чтобы не кончалось ощущение, чтобы воспоминание о маме, о ее мягкой коже, о ее запахе и тепле длилось и длилось... Инна открыла глаза и щелкнула Илью по носу – дурак ты, такой дурак, сказала и отодвинулась. Холодно, сказала еще, поеживаясь, и дотронулась до своих губ. Хороший, сказала, звонко рассмеялась. Потом встала и, коснувшись Илюшиной щеки губами, ушла, лишь один раз обернувшись и помахав ему рукой, – хороший. Илья тихо гыгыкнул, ему было не по себе. Потом еще посидел на крыльце – стало холодно, воспоминания о маме снова исчезли, а Инна растворилась в мерзлом вечернем воздухе. Илья вздохнул и два или три раза хлопнул в ладоши – ощущения от Иннинных губ не возвращались. Тогда он ушел в дом и плотно за-

крыл за собой дверь.

Потом была весна, снег начал таять, и, как в прошлом году, с потолка дома, где жил Илюша когда-то с родителями, а теперь – один, стала капать мерзлая вода. Илья потрогал ее на вкус, лизнул языком со стены, – не соленая, совсем без вкуса, только холодная очень. Потом, когда стало капать уже в середине комнаты, не по стене, подставил ладонь – ледяные капли разбивались о ладонь, щекотали, Илюша улыбался. Про Инну он забыл, только иногда ночью снилась мама, и Илюша просыпался, оглядывался, слезал с кровати и босыми ногами шлепал по всему дому, заглядывая в углы, шаря руками в темноте, тихонько гыгыкая, пока не возвращался обратно в постель, еще теплую, и засыпал. Никогда не боялся темноты – не знал, что ее можно бояться, что вдруг темнота скрывает опасность, не ведал опасности, и никогда не видел дурных снов. Не то, что наяву.

Потом деревня совсем заплохела – молодежи не осталось, девки все повыскакивали замуж за городских, и первой – красавица Инна, напоследок зашла к Илюше, погладила его по голове, поцеловала в щеку, улыбнулась одними глазами – хороший ты мой, дурачок, Илюше было очень приятно, а потом Инна ушла, а за ней – и остальные девки, чего в деревне сидеть, в девках-то. Старики поумирали – кто сам, а кто и замерз с бутылки, зима очень холодной была, а самый резвый дед, Игнат Олегович, говорили, что ему под сто лет, пошел зимой рыбу ловить в реке, да и не вернулся, даже следов

не оставил – все ночью замело, прорубь – и та замерзла. Когда приехали люди из города, землю смотреть, Илюша один был – похудел совсем, волосы грязные, сидел на крыльце, жевал сухарь старый какой-то. Увидел людей, сразу разулыбался – давно людей не видел. Ты чей, спросил дородный мужчина, почесав себе переносицу, и Илюша в ответ радостно гыгыкнул. Тогда решили его отправить в детский дом подальше, совсем в другой город, потому что документов при дураке не было, а на вид ему было никак больше шестнадцати не дать, ну семнадцать от силы, и дом его совсем уже начал рушиться от времени и без хозяина. Так Илья впервые оказался в поезде. Ночью, когда все спали, он спустил босые ноги с полки и вышел в коридор. Вагон покачивался на стыках рельсов, за окном мелькали далекие огоньки, и как было спать в такую ночь. Илья обеими руками схватился за перекладину вдоль окна и прижался носом к стеклу. Он смотрел, как проносятся мимо деревья и фонарные столбы, очень много столбов, как провода режут на части серое небо, как из далеких труб медленно поднимается дым, как короткие шлагбаумы перегораживают дороги, пока поезд не пройдет мимо, и как, на поворотах, если как следует приглядеться, где-то впереди видно поезд, который уже повернул, а вагон с Илюшей и спящими пассажирами еще нет. Еще Илюше понравилось старое дерево, уже мертвое, согнутое и сухое, без веток, которое было похоже на медведя, вставшего на задние лапы и замершего так, словно вглядываясь куда-то. Илю-

ша захлопал ладонью по стеклу, но медведь не реагировал, только все смотрел куда-то, и Илья тоже стал смотреть туда, но ничего не увидел, потому что вокруг была совсем уж глубокая ночь.

Утром поезд остановился на большой станции, и Илюшу, замотав его шею колючим шарфом и засунув ноги в резиновые сапоги, вывели из вагона. Город, – осклабился дурак, захлопал в ладоши, зажмурился от накатившего внезапно то ли счастья, то ли какого другого чувства, которого раньше не было, и снова распахнул глаза, а носом вдохнул резкие незнакомые запахи. А потом, вдруг, словно его испугали чем-то, вскрикнул и сорвался с места, побежал вдоль поезда и дальше, вдоль железнодорожного полотна, только в другую сторону – туда, откуда поезд приехал. Кто-то закричал, за ним побежали следом, но потом поняли – не догнать, и остановились, запыхавшись, сплевывая на землю и матерясь чуть слышно, а документов-то у него и нет, чего за ним гоняться. Только смотрели сначала ему вслед, как он вихляет, перепрыгивая через коряги уже далеко от станции, а потом он исчез где-то за деревьями и фонарными столбами.

Илюша объявился через пару лет, вышел в окрестностях деревни, в которой родился, вернувшись домой, как кошка, но в саму деревню не пошел, да и деревни больше не было, стройка какая-то бухтела там, где раньше была деревня. Илюша ходил вокруг, к людям не подходил, старался на глаза им не попадаться, только гыгыкал тихонько, ночью в ладоши

хлопал, не от удовольствия, а чтобы не замерзнуть, ночи были какими-то слишком холодными, даже для поздней осени, а потом, каждый вечер, выбирал дерево погуще и забирался в ветви, повыше, и засыпал. Ему редко снились сны, и он все еще не боялся темноты, только понимал каким-то своим чутьем, что к людям подходить нельзя, не мог себе объяснить, почему. Иногда ему снилась мама, и он ощущал на губах забытый поцелуй Инны, деревенской красавицы, которая, он не помнил, как выглядела, и тогда он улыбался. И еще ему снились фонарные столбы вдоль железнодорожного полотна, но на утро он своих снов уже не помнил.



Amey 2-15

Фёдор Сваровский

Один на Луне

1.

Сайфутдинов один на Луне

в пересменок
случилась мировая война
даже сперва
не заметил

всё закончилось быстро
не нарушая сна

корабли потерялись
системы слежения навеки отключены
спутники сходят с орбит
а Земля молчит

невооружённым глазом видно —
там всё коричневое теперь
плотными пыльными облаками
все континенты затенены

2.

так проходит
год или, может быть, даже два
у Игоря становится совсем какая-то мутная голова
чувствует себя напряжённо, странно
и однажды лунной ночью
заходит к нему Светлана

говорит: прости, я пьяная
вот, шубу на улице потеряла
хотела поймать такси
но денег мало
прости
можно – говорит – выпить кофе, чаю
а то я совсем уже замерзаю
перебрала
и за себя практически не отвечаю
попью и поеду дальше в место какое-нибудь клубное,
злачное
музыку погромче включи, пожалуйста – говорит

и встала спиной к окну
и видно – она прозрачная

3.

потом приходили ещё бывшие соученики, друзья

родители
ещё средневековые франкские правители
и какие-то греческие князья

это никогда не кончится —
говорит себе Сайфутдинов —
ты это уже пойми
лучше выпей лошадиную дозу барбитуратов
маму, Светлану свою неосязаемую обними

будь уверен
шансов здесь нет
ты превращаешься в психа
лучше уж выйди
и где-нибудь в кратере Тихо
широким жестом
шлем сферический отстегни

4.

на всякий случай зачем-то
проверил баллоны, настроил рацию

вышел

как Моисей

впереди своего народа
Сайфутдинов по лунной пустыне

сопровожаемый
галлюцинациями

своими

множественными

остановился в Море дождей
отстегнул застёжки
а ему – ничего

видимо, думает, легко и без всякой муки
я уже умер
но воздуха нет, а дышит

смотрит – вокруг не глюки
а сотня ангелов
встала вокруг него

и поют
в вакууме
и он их слышит

5.

пусть жизнь на Луне скучна, ограничена и убога
и поверхность её безвоздушна, суха, пуста
и Земля теперь, в основном, – безжизненные места

но
Игорь Равилевич Сайфутдинов —
последний живой человек
первый из селенитов

космический старожил

ходит везде без скафандра

молится Господу Богу

за всех

кто когда-то

жил

Один из нас

последние отряды в горах
сбитые из никого

из бывших дезертиров
из резервистов Цахала
из сербских с позволения сказать добровольцев
из американских извините участников отрядов
самообороны
из так называемых бойцов британской армии
территориальной
из пожилых греков-паломников
из русских авантюристов
из немецких идеалистов
из каких-то местных
в окружении домашних животных

и вот эти расстегнутые
с курами и собаками
пытаются обстрелять 18 дивизий
у Города Возлюбленного

бесполезно
скоро все прекратится

– скажи мне Ицикович

уж не та ли это самая туча?

– нет сладкий

это горит Западный Берег

– Ицикович

какая при этом погода тихая

нет никакого ветра

– уже полгода нет никакого ветра

– Ицик

а хочешь пирога с капустой?

– Давай конечно

давай свой пирог с капустой

в такой обстановке обостряются чувства

слышен внезапный шорох

травы на холме

стрелок

слышит как у него перекачивается в патронах порох

как мелкое насекомое ползет у него в стволе

лейтенант из ограниченного контингента

валяясь в пыли

рваных штанов не стыдась

в молодое лицо втирает сухую грязь

очень тщательно

пытается что ли думать
что он на сборах

– и что нам ребе сказать об этом?
что сказать об этом?
напоследок что ли
что-то
самим себе
рассказать об этом?

греки говорят об облаке

мне видится
все по-другому:

Он придет
пешим

подойдет незаметно

с нашей
с подветренной стороны

как один из нас

загорелый
в камуфляже

в руке Его для отвода глаз сигарета

дымится

в небе высоко над Его головой как бы почти случайно
вьется какая-то птица

все закончится думаю ребе быстро

как зима на море

после которой

практически сразу лето

Мяч

цыганские парни
потеряли мяч в высокой траве

ветер рассекает растения
как волосы на моей голове

потерялся и я
хожу до вечера
встречаю шорохи и комки

жуки садятся на руку
и исчезают с руки

на этой горе
живет душа моя
никто не сможет меня найти

найди им мяч Господи
пускай они
уходят домой

Алла Лескова

Ватрухи

А вчера меня навестили девочки с работы, Маша и Лиля. Они принесли мне большой букет крупных ромашек, который еле поместился в широкую пластиковую банку из-под фурацилина.

Девчонки всегда мне дарят только полевые цветы, хотя я совсем не напоминаю русское поле с его тонким колоском.

Но полевые цветы и правда люблю, наверное, когда-то проговорила об этом в рабочее время.

Маша так похудела за полтора года, что я узнала о ее визите только по янтарным бусинкам на ее же шлепках, а так бы думала, что одна Лиля пришла. Которая всегда была нетолстой, но на фоне Маши сегодня любой борцом сумо покажется.

Девчонки сделали вид, что я отлично выгляжу, и как бы не заметили мою раздутую на метр влево щеку.

Они сказали:

– Просто отлично смотрите, сразу видно, что наконец высыпаетесь.

Ну да, – сказала я, – врите, конечно, но молодцы... А как вам моя щека, нравится? – спросила я зачем-то... Дурацкая

привычка задавать вопросы, на которые не хочется слышать ответ...

Девчонки пожали плечами и чрезмерно равнодушно сообщили, что я стала похожа на бурундучка с левым уклоном.

Или на половину пропитого географом глобуса.

Потом они вытащили упаковки очень крупного прозрачного винограда со словами «Вам нужна глюкоза».

И тут же рассказали все свежие новости с работы, а также про то, что в Африке мальчишки писают друг другу на черные курчавые головы, чтобы стать блондинами... И добавили, понизив голос, что эти же африканские мальчишки стимулируют эрогенные зоны африканских коров, чтобы улучшить надой молока...

Я глубоко задумалась, а девчонки засмеялись и сказали:

– Вам все равно теперь в Африку нельзя. Там солнце.

Потом я всполошилась, что ничем не угощаю гостей, и стала предлагать то это, то то из холодильника.

А Маша и Лиля сказали:

– Как вам не стыдно, почему вы к нашему приходу не испекли в больнице торт? Почему? Вот так приходи к вам...

А я им говорю:

– Виновата, пошли в кафе, там посидим...

У нас в онкоцентре на седьмом этаже кафе есть, уютное и прохладное. А в палате пекло светит прямо в глаз.

Мы пошли в кафе, и буфетчица сказала:

– Девчонки, возьмите ватрухи... Ватрухи свежие, только привезли.

Маша и Лиля захохотали, очень им слово «ватрухи» понравилось, и все повторяли:

– Надо же... Ватрухи... Прелесть.

А я радовалась, что могу их угостить не только ватрухами, только бы они подольше не уходили...

И тут же вспомнила Петруху из «Белого солнца пустыни» и резко захотела посмотреть это кино.

Чтобы услышать в сотый раз припев про повезет в любви...

Ну и про госпожу удачу.

Жаркое лето, 2014

Наконец-то вечер, и ослабла лютая жара.

Мокрые от душной влаги волосы стали вдруг виться, от тела стало чуть отходить влажное, невесомое изначально, а сейчас тяжелое платье. Туника.

Я почти все время спала, просыпаясь, чтобы прочитать еще десять примерно страниц.

Один раз сквозь липкий сон я улыбнулась, не открывая глаз – это медсестра приоткрыла дверь и тихо сказала: «Леди спит... Пусть. Потом градусник дам...»

Это леди меня рассмешило во сне.

За окном очень красивый вид, много зелени и коттеджи с коралловыми черепицами.

Я долго смотрю в окно и вдруг слышу, как закипает невключенный чайник.

От раскаленного солнца закипает.

Чудеса. Петербург. Странное лето 2014-го...

На ужин привезли макароны с сыром и со словами «Ну вы, конечно, не будете». Я сказала:

– Конечно, не буду, но давайте, спасибо.

Рядом со мной бабушка, которая любит макароны и вообще все.

К ней никто не приходит.

Она все время молчит, смотрит перед собой и улыбается,

вспоминает про любовь...

Говорит, что ее многие любили.

Ирина

Сегодня на сестринском посту Ирина.

У нее всегда одна и та же в ярких цветах зеленая блузка и пшеничные волосы. Ходит она быстро и уже издалека в коридоре говорит всем встречным:

– Все будет хорошо.

Встречные отвечают по-разному.

Кто-то молча улыбается и машет вяло рукой.

Кто-то отвечает:

– Спасибо, дорогая, спасибо...

А кто-то ехидничает по-доброму – мол, все не все, но что-нибудь хорошо да будет... Мы не возражаем.

У меня с Ириной особые отношения.

Она вместе с другой шумной сестричкой везла меня на непослушных вихляющихся носилках в операционную, и обе матерились про зарплату и их старшую сестру.

Я лежала сиротливо и, сглатывая первые за эти дни свои слезы, слушала их разговор.

Надо мной прыгал потолок, они везли быстро...

Сестрички поведали невзначай, что скоро в целях борьбы с коррупцией во всех бюджетных медконторах поставят видеокамеры и прослушки. И фиг тогда отведешь душу про зарплату, график, суку старшую, не говоря о начальнике всего здравоохранения...

И пятисотку в карман от благодарных пациентов или там тыщу уже не положишь.

Потом эту же информацию подтвердила навестившая меня зубной-терапевт нашей районной поликлиники красавица Надя.

У них уже везде в кабинетах видео и аудиопрослушки.

Самых рьяных коррупционеров державы лишили-таки кислорода, да. И – мда...

Но Ира сказала, что она положила на все камеры и прослушки и пусть они еще таких дур найдут – за такие бабки и с такими тяжелыми больными еще не материться и не ругать график и кривые носилки.

Потом Ира увидела, что я плачу, и сказала:

– Прекратить мне плакать немедленно. У вас сейчас давление поднимется и отменят операцию... И анестезиолог не допустит, вы че?!

Анестезиолог оказался волшебным Сашей.

Никто и никогда так ласково еще не вводил меня в забытье и не выводил из него.

Когда он вывел и сказал: «Просыпайтесь, все хорошо», я поняла, что у меня теперь еще один родственник.

Как и эта шумная Ира.

Которая всю ту ночь не отходила от меня и делала уколы от боли.

Главная коррупционерка страны.

Героям слава

Ой, че тут было...

Короче, одна пациентка из соседней палаты схватила свою постель с подушкой и одеялом и ушла проситься в другую палату.

Как только что выяснилось из достоверных источников в лице сестры-хозяйки Гали, пациентка не сошлась во взглядах с приятелкой по соседней койке.

У них оказались разные мужские вкусы.

Одной нравится Порошенко, а другой даже не Обама, а сам Путин.

Поскольку дышать одним воздухом более стало невозможно, фанатка Путина схватила постель и с прямой спиной покинула палату.

Которая Порошенку любит крикнула в спину пропутинской вражине:

– Ну и иди с богом, дура.

Я уточнила у сестры-хозяйки:

– Они что, совсем?

На что Галя ответила:

– У нас такие же больные, как и во всей стране.

И рассказала, что недавно один пациент ходил по коридору и всем сообщал, что славаукраинегероямслава.

Но поскольку он давний и тяжелый больной, ему все под-

дакивали и соглашались, что да, слава.

Крутая

Дети купили мне в больницу планшет, чтобы веселее болеть было.

Сказали – не позорься, тебя уже целых несколько сотен на земле знает, а ходишь с отстойным мобильником, который с совком для обуви путают... И даже ноута не хочешь. Вообще без желаний какая-то.

В общем, я планшет осваиваю, но он меня нет.

Например, я пишу одно, а он выдает другое, решает за меня, как лучше. Хорошо хоть не по-китайски редактирует, но бесит ужасно.

А сегодня в очереди на перевязку я сидела с этим планшетом, а потом меня позвали, и я его оставила в коридоре. Кому он нужен...

А пока я заливалась молча слезами от боли и хватала, позорница, молодого доктора за рукав, чтобы не заорать, в кабинет вошел еще один красавец доктор и сказал:

– Это не вы гаджет оставили?

А я ответить не могу и только пальцем показываю, что я.

Доктор укоризненно говорит:

– Не оставляйте, пропадет, какая вы легкомысленная...

И тут мой лечащий Дима отвечает коллеге:

– Вот не пошел бы ты куда подальше со своими нравоуче-

ниями... Нашел время... Лучше шпатель поддержи, строгий ты наш... Видишь, как терпит, поражаюсь просто.

А я как услышала, что я терплю, то сразу мне себя впервые жалко стало, впервые за столько дней.

Телефон же мой, без наворотов, но с тревожной кнопкой зачем-то, меня вполне устраивает.

Если нажать невзначай эту кнопку в полном автобусе, то все выскакивают от ужаса, и я могу сесть на любое место. Так что вполне себе крутой телефон.

А иначе зачем

Вот и закончилась, наконец, первая из пяти недель. Впереди два дня отдыха и абсолютного счастья. Отдыха от ежедневного спуска в ад.

Где какие-то невидимые лучи что-то с тобой делают, надеюсь, хорошее, конечно же, хорошее.

Где даже врач-радиолог какой-то inferнальный, со странным взглядом и дьявольской насмешкой в глазах.

Где очередь стала родной, и утром все говорят друг другу ЗДРАВСТВУЙТЕ, и слово это наполнено здесь особым смыслом.

А потом говорят ДО СВИДАНИЯ, и это тоже осмысленное прощание, полное надежды.

Где угасающим детям изо все сил улыбаются мама и папа, а потом папа несет ребенка на руках туда, а мама остается ждать, и улыбка стекает по ней, как воск по тающей свече...

Где столько сцен любви и преданности друг другу, так много потрясающих сцен! Такой любви и такой преданности, в чистом ее виде, без всяких примесей.

И не важна для любви этой уже внешность мужа, жены, матери, отца, какая там уже внешность... А важно только, чтобы – жили. Жил чтобы. И чтобы жила.

Потому что надо, чтобы было, кого любить. А иначе – зачем?

Теперь ты

Я второй день подряд пью коньяк.

Еду домой, как на праздник, потому что у меня там еще полбутылки есть, армянского.

Друзья волнуются:

– Ты бы спросила у радиолога своего, можно тебе сейчас, а то смотри...

А я отвечаю, что мой радиолог не разговаривает вообще, только если спросишь, и то...

Посмотрит на тебя как-то долго, облучит взглядом и произнесет, вернее, изречет что-то типа:

– Интересный вы человек, Алла... И уходит к линейному ускорителю, белой спиной повернувшись ко мне, и рукой машет, мол, пошли, ложись. Линейно ускорять тебя буду.

Голову повернет правильно, какую-то цифру назовет медсестре, и та что-то врубает.

Про алкоголь не предупреждал, памятку не давал, так что чего там.

Но я зашла на всякий случай на форум своих собратьев и сестер по шуткам судьбы. Не могла оторваться.

Они там все пишут, что вообще не просыхают с того дня, как диагноз узнали.

Так что я еще святая простота.

Зато я очень жалею, что не пила всю прошедшую жизнь.

То есть совсем мало пила, и при этом почему-то счастья хотела. А оно отдельно не бывает, клянусь.

Ну и еще хотела про одну пару сказать, за которой наблюдаю который день...

Там муж большой, крупный и совсем уже никакой. Глаза потусторонние, но надеется, или только его хрупкая жена уже надеется, не знаю.

Он уже ноги еле передвигает, так эта маленькая жена своими маленькими руками эти большие его ноги передвигает, а он в это время на ее узенькое плечо опирается. И так она его тащит каждый день вниз по ступенькам, под лучи тащит.

Он все время говорит что-то, очень неразборчиво, но понятно, что жалеет ее.

А она только одно отвечает:

– Ничего, я всю жизнь на твое плечо опиралась. Теперь ты обопрись.

Смотрю я на все это и думаю: человек в принципе только три слова может знать.

Чтобы быть человеком.

Я. Тебя. Люблю.

Сергей Данюшин

Что мы знаем о весёлых трактористах

+ + +

Что мы знаем о весёлых трактористах,
третий день на дне речном лежащих смирно?
Ничегошеньки-то мы о них не знаем —
знаем только, что лежат на дне речном.

Нет, конечно, о химическом процессе
разложения мы что-нибудь да знаем:
мол, субстанцией становятся, частичкой
неизменной сути, так сказать, вещей.

Философия, казалось бы, ответы
может дать. Но хоть Лаканом, хоть Стаканом
трактористов этих ты интерпретируй —
их со дна речного мёртвыми достанут.

+ + +

Антропоморфизм

Бутерброд с колбасой стать решил человеком,
засмотревшись на мир сквозь витрины стекло:
на Равиля, впервые летевшего в Мекку;
на Марию Петровну, которой не шло

её красное платье; на Колю с Тагила,
подхватившего триппер в отеле «Уют»;
на доцента Смирнова, который светило,
только бабы ему всё равно не дают.

Вот закрылся буфет. Бутерброд много думал,
с головой завернувшись в тугой целлофан.
Он не спал – сердце билось синкопой угрюмой,
разгоняющей кровь в предвкушении рана.

«Боже мой, боже мой! Я, наверное, Jesus, —
застонал бутерброд. Возмолился в слезах, —
Папа, может, не надо шутить с моей жизнью?
Не, я всё понимаю, но это же крах

всех надежд моих, чаяний всяческих разных.
Я, ей-бо, не готов. Может быть, через год?»
Бог молчал, но с утра тараканов заразных
он наслал на буфет. «С бородой анекдот, —

бутерброд возмущенно на это ответил. —
Чуть чего, так и сразу болезни и мор.
Ну а вдруг пострадают невинные дети
от того, что я чашу твою не попёр?

Я отныне и присно теперь богохульник.
А ещё учудишь что – вообще сатанист».
В ту секунду срыгнул пассажир Бородулин —
стать решил человеком внутри него глист.

Эпифоры

Он говорит: постоянно просыпаюсь от того, что хочется петь.

А она ему: Петь, ну может не надо? Не надо, Петь!

И без того, понимаешь, пыль по углам, быт не то чтоб налажен.

А он ей: скажи ещё, что война кругом и прочая лажа. Лажа.

Она говорит: видела сегодня, не поверишь, Лёшу из пятой парадной.

Кстати, куда это ты на ночь глядя намылился такой парадный?

И так, понимаешь, пыль по углам, быт не то чтобы колосится.

А он говорит: вот ещё у тебя, овцы, забыл отпроситься.

И что там Лёха? А то и впрямь давно его видно не было. Он раньше заходил иногда, а в последнее время повода, видно, не было.

А она говорит: его, представляешь, брали в плен чеченцы.

Потом отпустили. Говорит, они и не злые вовсе – просто

чеченцы.

У них берцы из военторга. Аллах. Щетина, наверное, ужасно колется.

Раньше так было. Теперь у них быт налажен: никто не бухает, не колется.

«Вот всех бы собрать патриотов...»

Вот всех бы собрать патриотов
Руси бы Святой патриотов
И сжечь бы их всех патриотов
Вот жизнь бы тогда началась!

Собрать бы ещё либералов
поганных жидов-либералов
и всех расстрелять подчистую
Вот зажили б мы бы тогда!

И всех бы собрать гомофобов
Вот этих прыщей маскулинных
И всех перевешать на сваях
Вот мы б задышали тогда!

И педиков всех чтобы разом

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.